

19-го марта 1902 г.

Полтава, Александровская ул. д. Старицкого.

Для телеграмм просто: Полтава Вл. Гал. Короленко“.

Чрезвычайно интересно для освещения общественной атмосферы, среди которой разыгрывалась эта история, письмо Н. Ф. Анненского к Короленку от 20-го марта. Приводим его с изъятием строк, не относящихся к данной теме:

„Куоккала, 20/III—1902 г.

Дорогой

Владимир Галактионович.

Вчера получил Ваше письмо. Это ответ еще на первое мое письмо, написанное 11-го, но посланное только 12-го . . . могу мало что прибавить относительно фактической стороны академической истории, да вряд-ли это и нужно, так как теперь и эту фактическую и юридическую сторону инцидента Вы знаете из писем Фед. Дмитриевича и Конст. Констант. *) лучше, чем знаю я. Боюсь только, могут-ли оба Ваши корреспондента,—при таком т. ск. срединном примирительном положении, которое они занимают—быть чуткими и верными истолкователями общественного настроения настоящего момента, благодаря которому вся эта в сущности довольно „обыкновенная“ в русской жизни история приобретает особое значение и делает положение лиц ею затронутых особенно ответственным.

Я давно уже живу сознательною жизнью, но право не помню, когда больше и жгуче чувствовалась разнузданная грубость официального мира. Конечно, солдатская рука Николая **) давила крепче и последовательнее и во времена Муравьевской диктатуры гнет был беспросветнее, но тогда и общественная чувствительность была много тупее, чем

*) Ф. Д. Батюшкова и К. К. Арсеньева.

**) Конечно, Николая I.

теперь. И потому не чувствовалось того хронического состояния обиды, от которого теперь мы не можем отделаться. В более восприимчивой и живее чувствующей молодой части общества это чувство обиды принимает активные формы. Конечно, все эти протесты, если рассматривать их с точки зрения практической целесообразности, по большей части являются только „безумными“ вспышками, но симптоматическое их значение, как показателей обостренного, напряженного общественного настроения—несомненно весьма и весьма серьезно. Грубое подавление всех этих вспышек (если бы Вы знали, до чего здесь доходит эта грубость!) еще более обостряют это настроение. Сообщается оно и более широким общественным кругам. Пропасть между „тем“ и „этим“ берегом, между растущим общественным чувством и сознанием России властной, давящей, топчущей и избивающей,—делается все глубже и непроходимее. Не знаю, что из всего этого выйдет и не тешу себя иллюзиями (вероятно, придется еще пережить тяжелую реакцию, а доживем-ли до второго под'ема—Бог весть),—но во всяком случае переживаем мы момент незаурядный и общественное настроение теперь крайне напряженное.

При таком настроении особенно остро чувствуется отношение к актам произвола, проявляемое такими общественными группами, учреждениями или отдельными лицами, к которым общество привыкло относиться с уважением. Волнует поэтому очень широкие круги и академическая история. С напряженным вниманием ждут, как отнесутся к тому, что произошло, академики. Все понимают, что над Академией учинено грубое и оскорбительное насилие. Ведь какие бы юридические соображения (по моему крайнему разумению, только натяжки) ни приводились для опорочения законности выборов Горького, во всяком случае остается факт, который ничем нельзя оправдать: Академию заставили прикрыть своим именем кассацию непоправившихся наверху выборов, кассацию, сделанную не ею и от имени академиков сделано было заявление, что они не знали, что творили, выбирая Горького, хотя не только никакого уполномочия от них на такое заявление никто не получал, но даже и

для приличия академикам не было сообщенно заранее о том, что будет от их имени оповещено. Как же отзывается на это оскорбление Академия? Пока—ничем. Это уже вносит большую горечь в общественное сознание. Ведь если с таким учреждением, как Академия, можно поступать столь бесцеремонно, то чего же ждать непривилегированным обывателям? А никак нельзя ожидать, чтобы Академия, как целое, или ее II-е Отделение с Разрядом Изыщной Словесности, непосредственно затронутое, выступило с каким-нибудь коллективным шагом. Это можно было сделать только сейчас, непосредственно после полученной пощечины. Но дело пошло в затяжку и окончится ничем.

Все надежды возлагаются теперь на единичных академиков, которые попали в академию, пока она была еще „республикою наук“ и не заглядывала пред своими постановлениями в полицейский участок. Им не остается ничего иного, как выйти из опозоренного учреждения.

Мне ужасно жалко, что Вас теперь нет здесь. Ваше присутствие в заседании Академии внесло бы несомненно другой тон в обсуждение происшедшего. Но, думаю я, нет Вам нужды и возможности ждать, пока будет созвано еще собрание. По всей вероятности будет это очень не скоро и что из него выйдет трудно сказать. А время идет. По моему глубокому убеждению, Вам следует или теперь же послать заявление о том, что Вы слагаете с себя звание почетного академика или—если Вас еще останавливает нераз'ясненность каких-либо обстоятельств дела или же начатые переговоры с другими академиками—приехать сюда, не ожидая ни приглашений, ни извещений о предстоящих собраниях и, на месте все выяснив, принять решение—думаю я, единственно возможное. Но тянуть и ждать, пока Академия на чтонибудь подвинется—совсем невозможно.

Вы меня простите, дорогой друг, что я врываюсь в ту область, которая подсудна только Вашей совести и куда посторонние не должны иметь входа. Смею считать себя не посторонним и потому не могу не высказать Вам всего так, как думаю и чувствую, и уверен, что Вы меня за это не

осудите. А если и осудите не беда. Слишком мне дорого все, что Вас касается, чтобы пред этим останавливаться. Ну, а пока все-таки ставлю точку, ибо пора когда-нибудь кончать и заочно горячо Вас обнимаю.

Ваш Н. Анненский“.

В том же тоне глубокого волнения писал к Короленку и П. Ф. Якубович (Мельшин):

„22-го марта 1902 г.

Дорогой

Владимир Галактионович!

Публика с нетерпением ждет Вашего приезда сюда, т. к. история с Горьким взволновала всех страшно. Только, к сожалению, в среде товарищей по Академии Вы не встретите, кажется, ни малейшего сочувственного отклика (и под „публикой“ я только нашу компанию разумею*). Конечно, ни с кем из академиков лично я не беседовал, но про многих из них рассказывают совсем странные вещи“.

В свою очередь Короленко стремился поскорее выяснить на месте, в Петербурге, все детали инцидента и только поджидал ответов на свои письма с запросами о заседании от академиков Шахматова и Веселовского. В письме к Н. К. Михайловскому от 23 марта он между прочим писал: „Чехов пишет со слов какого то ординарного академика будто академии объявлен высоч. выговор. Это еще одна версия из достигающих до меня. Очевидно разобраться вполне можно только на месте. Жду ответа Веселовского, которому послал запрос, когда будет заседание Академии. В связи с этим располагаю свой выезд в Петербург“.

24-го марта акад. Шахматов писал в ответ на запрос Короленка:

*) Т. е. товарищей по „Русскому Богатству“.

„Глубокоуважаемый

Владимир Галактионович!

Я получил Ваше письмо уже тогда, когда поздно было отвечать на Ваши вопросы, т. е. в день заседания соединенного собрания. Очень жалею, что не списался с Вами раньше. Можно было бы предупредить Вас телеграммой. Соединенное собрание выработало проект нового положения. В конце апреля Вы получите этот проект и сообщите Академии свои замечания. Окончательно он будет рассмотрен не раньше осени. Мы все чувствуем себя очень не хорошо. Был тревожный слух, что некоторые почетные академики слагают с себя это звание. Для Академии это было бы страшным ударом, так как то обстоятельство, что они остаются в ее среде, более чем другое что-нибудь свидетельствует о незаслуженности нападков, посылавшихся на Академию. Пока Академия не совершила ничего бесчестного и уж поэтому она в праве думать, что ее члены не нанесут ей оскорбления.

Искренно Вам преданный

А. Шахматов.

24-го марта 1902 г.“

Засим хронологически следует приведенное уже выше письмо Короленка к Батюшкову от 24-го марта; далее— письмо последнего к В. Г—у, интересное в смысле выяснения позиции, занятой в этой истории президиумом Академии и в частности — Второго ее Отделения, к которому принадлежал и самый Разряд Изящной Словесности:

„.....драматизм положения президента заключается в том, что по Высоч—шей же воле не было опубликовано о Высочайшей воле, а предписано объявить от имени Академии. Оказывается, что президент не имеет непосредственного доклада, а только через мин. нар. просв.; что он просил повременить дня два-три с публикацией, чтобы успеть собрать академиков, но ему было отвечено „немедленно в ближайшем номере Прав. В.“. Теперь другие Отдел. Акад.— в волнении тк. кк. им о Выс. Воле не было объявлено, а они видят себя скомпрометтированными перед обществом.

Готовится протест в ближайшем общем собрании (без почетн. акад.) трех отделений, назначен. на 6-ое апреля. Веселовский сильно трусит этого собрания. Президент считает себя обиженным, кк. почетн. академ. и будто сказал, что он в баллотировках больше не принимает участия. Но как никак должно быть после общего собрания отделений особое заседание 2-го Отд. с почетн. академик., но Веселовский думает, что его придется перенести на осень. Это не худо, ибо к тому времени может (а пожалуй и должен) приехать Боборыкин. Мог бы под'ехать и Чехов (я говорил об этом с его женой, которая думает, что в виду важности этого собрания Антон. Пав. мог бы именно в сентябре, когда здесь не так худо, приехать дня на три). Вас заочно считаю согласным не складывать оружия, пока идет борьба за восстановление справедливости. А за сим в чужие дела я больше не вмешиваюсь."

Самый ответ А. Н. Веселовского краток и почти официален:

„26-го марта.

Многоуважаемый

Владимир Галактионович,

Пересмотр устава Разряда Изыщной Словесности передан пока в комиссию, составленную из членов Разряда и Отделения; было всего два заседания, последнее как раз на другой день после получения мною Вашего письма. Со стороны Разряда участвовали Кони, Арсеньев, Стасов, Потехин, Голенищев-Кутузов. Приняты всевозможные меры, чтобы устранить существующие недочеты и внезапные немотивированные стеснения. В общем рамка готова, но едва ли до сентября удастся раздать или разослать ее членам в виде программы, ознакомившись с которой они и приступят в общем собрании Отделения и Разряда к окончательной выработке, после чего устав пойдет далее—до утверждения его Государственным Советом (№3 ныне действующий устав не

был таким образом утвержден). Я извещу Вас во время, дабы Вы могли пожаловать лично для обсуждения и подачи голоса.

Примите уверения в моем искреннем к Вам уважении.

Александр Веселовский.

Желательно было бы знать Ваш адрес до лета — на всякий случай“.

II.

30-го марта В. Г. Короленко выехал из Полтавы в Петербург. Для полноты картины скажем вкратце о некоторых обстоятельствах, обрисовывающих душевное состояние В. Г. в это время.

Помимо того волнения которое вызвало в нем грубое обращение власти с чужим достоинством — само по себе, необходимо указать еще и на другие причины, осложнявшие его душевное состояние. Это было время, когда по Харьковской и Полтавской губерниям только что прокатилась волна крупных аграрных движений, за которыми последовали жестокие правительственные репрессии (вскоре после того в Полтаву приезжал даже сам Плеве). Формы, в которые отлились тогдашние крестьянские волнения, как это явствует из писаний Короленка, были ему во многом несимпатичны. Но огульность и жестокость последовавших репрессий глубоко его возмущала. Его популярность и моральный авторитет — с одной стороны, активное сочувствие к сидевшим в тюрьмах крестьянам — с другой, естественным образом привели к тому, что вокруг Короленка сгруппировалась защита в ожидавшихся судебных процессах, и он в значительной мере стал в центре самой организации этой защиты. Дело это было сложное, ответственное и волнующее. Высший чиновничий мир не только косился на Короленка, но даже склонен был приписывать ему активную роль „подстрекателя“ в аграрных беспорядках. Ходили слухи даже о предстоящем аресте писателя, а в столицах об этом говорили даже как о совершившемся факте.

Перед самым отъездом из Полтавы пришло сообщение о смерти Г. И. Успенского, которого Короленко горячо любил и глубоко чтит.

Наконец, в самый день приезда В. Г. в Петербург, 2-го апреля был убит министр внутренних дел Сипягин. В общественной атмосфере явно и быстро нарастала гроза, и В. Г. Короленко был все охвачен ее предчувствием....

На фоне всех этих событий и настроений акт деспотического самовластия, жертвой которого становилось человеческое достоинство В. Г., воспринимался им с особенной остротой. Он явился в Петербург в повышенном настроении, готовясь к ожидавшемуся обществом академическому заседанию. Едва ли можно сомневаться, что он уже ясно предвидел неизбежность своего ухода из Академии.

Предчувствие того же, быть может, в менее резкой форме было и у Чехова. 2-го апреля он между прочим писал академику Кондакову: „Очень бы хотелось повидаться с Вами и поговорить, узнать подробности о последних академических выборах. До сих пор для меня еще многое не ясно, по крайней мере, я не знаю, что мне делать, оставаться мне в поч. академиках или уходить“.

Нижеследующие письма рисуют в кратких чертах дальнейшие пережития академической истории.

2-го апреля Короленко в письме к жене, с описанием убийства Сипягина, делает небольшую приписку и об академических делах: „Сегодня об'ездил некоторых академиков, но никого не застал. Значит, мое дело не подвинулось пока ничуть. Кажется, придется скромно вернуться и просто послать свое заявление с места“.

5-го апреля В. Г. писал к жене: „Мои дела движутся тихо. В собрании 6-го (завтра) мне, по уставу, быть нельзя. Возникает один недурной проект исхода из этого дурацкого положения, но он требует свидания и переговоров.... Одним словом, не стану пускаться в подробности, но, право, жалею, что не покончил всего этого сразу. Надоедает и движется тихо.“

Здоровье мое — так себе, даже, пожалуй, хорошо, если сравнить с предыдущими поездками. Тогда меня всякий раз схватывала бессонница. Теперь этого не было. Ограничивается дело — компрессами и все таки сплю, не смотря на все волнующие передрыгги, события, разговоры и прочее. Был я уже у Арсеньева, Шахматова, Кони, сегодня иду к Веселовскому. Этот последний разговор будет, вероятно, решающим. Увы! — может быть придется съездить в Крым на день или на два“.

Каков был этот „проект исхода“, о котором пишет В. Г. — в точности осталось невыясненным. Некоторые намеки на него читатель найдет ниже. От того же 5-го апреля сохранилось в архиве небольшое письмо к В. Г. от А. Н. Веселовского, написанное, несомненно, после их свидания:

„5 апреля

Многоуважаемый Владимир Галактионович,

Сейчас говорил с ак. Шахматовым. По серьезном обсуждении вопроса пришли к такому заключению: 1) Ваше заявление (объяснение отн.), если Вы его доставите мне завтра до 1 часа (ко мне или в Академию) я передам или прочту президенту; 2) Вам лично приезжать завтра для беседы с ним незачем, м. б. и неудобно; 3) До половины мая (или ранее), до отъезда Кони можно будет собрать заседание, обсудить Вашу записку и обратиться к Вел. Кн. для дальнейших актов.

Ваш А. Веселовский“.

„Записка“, о которой в этом письме говорится, была первым официальным обращением В. Г. в Академию по поводу происшедшего. Ее подлинный текст таков:

„А. Н. Веселовскому председателю II Отд. Имп. Академии Наук.

Глубокоуважаемый

Александр Николаевич!

В конце прошлого года я получил приглашение участвовать в выборах по Отделению Русского Языка и Словесности и Разряду Изящной Словесности и, следуя этому приглашению, подал свой голос, между другими, и за А. М. Пешкова (Горького), который был избран и, как мне известно, получил обычное в таких случаях извещение о выборе.

Затем в „Правительственном Вестнике“ и всех русских газетах напечатано объявление „от Академии Наук“, в котором сообщалось, что, выбирая А. М. Пешкова-Горького мы не знали о факте его привлечения к дознанию по 1035 ст. и, узнав об этом, как бы признаем (сами) выборы недействительными.

Мне кажется, что, участвуя в выборах, я имел право быть приглашенным также к обсуждению вопроса об их отмене, если эта отмена должна быть произведена от имени Академии. Тогда я имел бы возможность осуществить свое неотъемлемое право на заявление особого по этому предмету мнения, так как, подавая свой голос, я знал о привлечении А. М. Пешкова к дознанию по политическому делу (это известно очень широко) и не считал это препятствием для его выбора. Мое мнение может быть ошибочно, но и до сих пор оно состоит в том, что Академия должна сообразоваться лишь с литературной деятельностью избираемого, не справляясь с негласным производством постороннего ведомства. Иначе самый характер академических выборов существенно искажается и теряет свое значение.

Выборы почетных академиков по существу своему представляют гласное выражение мнения Академии о выдающихся явлениях родной литературы. Всякое мнение по своей природе, имеет цену лишь тогда, когда оно независимо и свободно. Отмене или ограничению могут подлежать лишь формы его обнаружения и его последствия, но не

самое мнение, которое по природе своей чуждо внешнему воздействию. Только я сам могу правильно изложить мотивы моего мнения и изменить его, а тем более об'явить об этом изменении. Всякая человеческая власть кончается у порога личной совести и личного убеждения. Даже существующие у нас законы о печати признают это непререкаемое начало. Цензуре предоставлено право остановить оглашение того или другого взгляда, но закон воспрещает цензору всякие посторонние вставки и заявления от имени автора. Мне горько думать, что об'явлению, сделанному от имени Академии, суждено, впервые, кажется, ввести прецедент другого рода, перед сущностью которого совершенно бледнеет самый вопрос о присутствии того или другого лица в составе почетных академиков. Если-бы этот обычай установился, то мы рискуем, что нам могут быть диктуемы те или другие обязательные мнения и что о перемене наших взглядов на те или другие вопросы (жизни и литературы) может быть об'являемо от нашего имени совершенно независимо от наших действительных убеждений. А это—величайшая опасность в глазах всякого, кто дорожит независимостью (и значит) искренностью и достоинством своего убеждения. Смею думать, что это—вличайшая опасность также для русской науки, литературы и искусства.

В виду изложенных, по моему мнению, в высшей степени важных принципиальных соображений, я и считал необходимым обратиться к Вам с просьбой известить меня о времени заседания Отделения и Разряда по этому поводу. К сожалению, моя просьба запоздала и уже тогда, к крайнему моему прискорбию, я предвидел, что мне останется только сложить с себя звание почетного академика, так как по совести я не могу разделить ответственности за содержание сделанного от имени Академии об'явления. Но я считал своей нравственной обязанностью перед уважаемым учреждением прежде изложить свои соображения в собрании Отделения и Разряда, которое, быть может, указало-бы мне другой выход, согласный с моей совестью и достойный высшего в нашем отечестве научного учреждения. Оставаясь при этом мнении, я прошу Вас, глубокоуважаемый Александр Николаевич,

сообщить мне, находите-ли Вы возможным созвать в ближайшем времени собрание Отделения Русского Языка и Словесности и Разряда Изящной словесности для выслушания моего заявления, которое я, в таком случае, буду иметь честь представить.

Примите и пр.

Вл. Короленко.

6 апр. 1902 г.“

В тот же день, как была подана эта записка, В. Г. писал к жене:

„Теперь мои дела сильно подвинулись: сегодня я написал письмо А. Н. Веселовскому (председателю нашего отдела), в котором сказал все, что нужно, но закончил, что хотел бы изложить все эти соображения в заседании. Написал это в окончат. форме сегодня утром и, правду сказать, ночь спал плоховато. Был у меня план, который, как будто, стали разделять и академики, но осуществимость которого, пожалуй, подвержена некоторому сомнению. Это-то меня и волновало. А тут, неожиданно вчера Веселовский сказал, что, лучше всего, если я имею сделать заявление, то подать его сегодня (перед общим собранием, на котором мы присутствовать по уставу не можем). Пришлось писать наскоро, а прежние мои черновики не годились в целом, представляя только материал. Впрочем,—утром сегодня вдруг в голове просветлело и я написал кратко (только лист) и, кажется, убедительно. К часу сегодня бумага уже у Веселовского. Веселовский обещает собрать заседание в конце апреля начале мая. Это и мне удобно. Наше ред. собрание—в мае.

Конечно, пришлю тебе список поданного мною заявления, только сейчас списать еще некогда. Едва закончил ко времени (ночевал в Куоккале). Веселовский сегодня-же передает князю, и мне ответят. А там—и сидеть мне тут нечего. В Ялту тоже всего вернее—не поеду. Ограничусь письмом, с подробным изложением положения дела“.

10-го апреля Короленко отправил Чехову вместе с письмом список своего заявления в Академию,—это было первое его письмо, в котором он делился с Чеховым своими соображениями об академической истории, а между тем, как мы видели из письма Чехова от 2 апреля к академику Кондакову, мысль об уходе из Академии являлась А. П. уже тогда. Это—лишнее доказательство полной независимости и самостоятельности обоих писателей в их отношении к происшедшему.

В тот же день, 10 апреля, В. Г. выехал из Петербурга обратно в Полтаву. 11 апреля он отправил список своего заявления в Академию—И. П. Белоконскому, которому при этом между прочим писал:

„Из приложенного при сем заявления моего или, вернее, письма на имя нашего председателя А. Н. Веселовского, Вы приблизительно увидите, в каком положении дело мое в Академии. Собрание, о котором я пишу в письме, Веселовский обещал назначить в первой половине мая и, если оно состоится, то и произойдет, кажется еще в первый раз любопытный разговор по существу сего дела. Вероятно, к тому времени приедут и другие „почетные академики“ (кажется, например, Чехов). Всего вернее, конечно, что придется выйти, так как трудно представить исход, соответствующий „достоинству высшего научного учреждения“, и придется спасать хоть свое личное достоинство. Во всяком случае любопытно. Письмо мое Веселовский в тот же день (6 апреля) передал князю Конст. Константиновичу“.

Получив письмо и копию заявления Короленка, Чехов отвечал ему:

„19 апреля 1902 г., Ялта.

Дорогой Владимир Галактионович,

Жена моя приехала из Петербурга с 39°, совсем слабая, с сильной болью; ходить она не может, с парохода перенесли ее на руках... Теперь, кажется, немножко лучше.

Толстому передавать заявление я не стану. Когда я заговорил с ним о Горьком, и об академии, то он проговорил: „я не считаю себя академиком“—и уткнулся в книгу. Горькому один экземпляр передал, письмо Ваше прочел ему. Мне почему то кажется, что 25 мая собрания в академии не будет, так как в начале мая все академики уже раз'едутся. Мне кажется также, что Горького во второй раз не выберут, ему накладывают черняков. Мне бы ужасно хотелось повидаться с Вами, поговорить. Не приедете ли Вы в Ялту! Здесь я буду до 15 мая. Я бы поехал к Вам в Полтаву, да вот жена расхворалась и пролежит еще вероятно недели три. Или увидимся после 15 мая в Москве, на Волге, заграницей? Напишите.

Крепко жму Вам руку и желаю всего хорошего. Будьте здоровы.

Ваш А. Чехов.

Жена кланяется Вам“.

На другой же день Чехов снова пишет к Короленку: *)

„20 Апреля, 1902.

Дорогой Владимир Галактионович, жена моя все еще больна, и я никак не подберу своих мыслей, чтобы написать Вам как следует. Во вчерашнем письме я спрашивал Вас, не увидимся ли мы в апреле, или начале мая. Мне кажется, что нам удобнее действовать сообща, и надо сговориться. Мнение Ваше, изложенное в письме к А. Н. Веселовскому, я разделяю вполне, и мне кажется, что на заседании 15 мая, если только оно будет, Вы могли бы сказать слова два-три и от моего имени. Если до 15 мая мы не увидимся, тогда придется списаться.

У моей жены высокая температура, лежит на спине, похудела. О чем Вы говорили с ней в Петербурге? Она горько жалуется, что все позабыла.

*) Настоящее письмо А. П. Чехова в собрание его писем не вошло и в печати появляется впервые.

20 sept 1918

Дорогой Владимир Владимирович, пишу тебе
из этой больницы, и я думаю не надо тебе
ничего писать, у тебя наверное есть свои
дела. Но все-таки хотел и написать тебе,
что я живу и все хорошо, и не переживай.
Мне, правда, что тебе тяжело, и я думаю,
что ты не сможешь выдержать. Но я думаю,
что ты выдержишь. И я думаю, что ты
будешь жить. И я думаю, что ты будешь
жить. И я думаю, что ты будешь жить.

Вот и все, что я хотел тебе написать.
С любовью, твой брат, Владимир.

Мне очень грустно, когда я думаю
о тебе. Но я думаю, что ты выдержишь.
И я думаю, что ты будешь жить. И я думаю,
что ты будешь жить. И я думаю, что ты
будешь жить. И я думаю, что ты будешь
жить. И я думаю, что ты будешь жить.

Владимир

В. Владимирович

29 апр. 1902

Губерно-уваровский

Александр Николаевич.

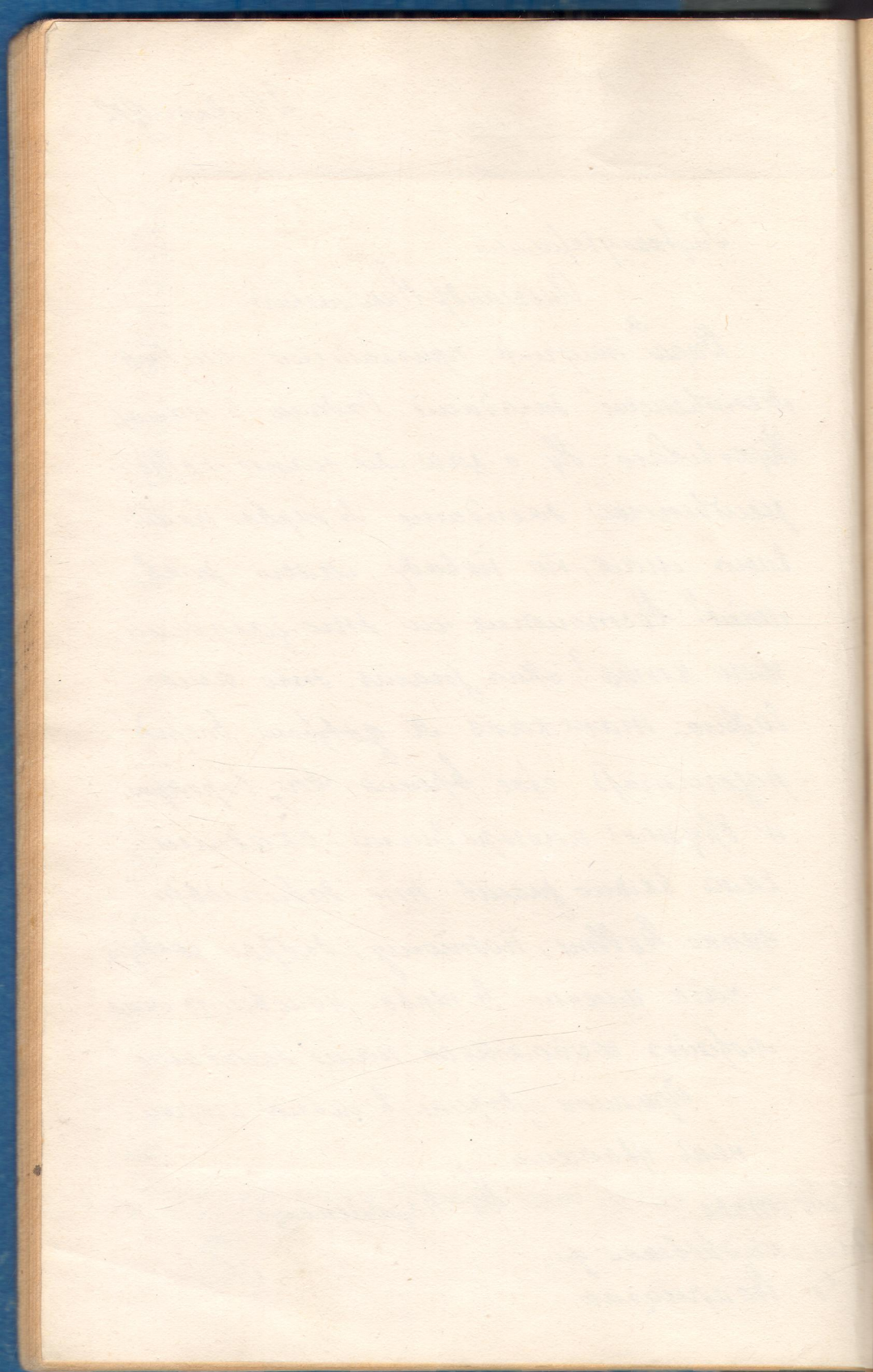
Ваша ^я толковая приманка на "тор.
жесточечное" заседание Отдела в пятницу
Жуковская. Ну, а как же наше петро-
градское заседание в первую пош-
лину мая, по поводу моего заяв-
ления? Востоятся ли это заседание
или нет? Мне знать это очень
важно, так как я готовил вперед
расчитать свое время. Да, вероятно,
и другие многоградные академи-
ки также знают это заблаговре-
менно. Будете, поэтому, добры сообщать
— когда именно в первой половине мая
можем ожидать наше заседание?

Примите уверение в моем искрен-
ном уважении

Полтава

Н. Карошная

Александровская ул.,
Д. Старикова.



Крепко жму руку. Будьте здоровы и благополучны.

Ваш А. Чехов“.

27-го апреля К. К. Арсеньев, получивший от В. Г. Короленки список его заявления в Академию и запрос о сроке заседания для его рассмотрения, отвечал В. Г-у:

„27 апреля

Глубокоуважаемый

Владимир Галактионович, очень благодарю Вас за присылку копии с Вашего письма. Вы, вероятно, уже знаете, что оно будет рассмотрено в ближайшем соединенном заседании отделения и разряда, которое состоится, кажется, около половины мая.

Искренно уважающий Вас

К. Арсеньев“.

Того же 27 апреля акад. Шахматов писал к Арсеньеву:

„Глубокоуважаемый

Константин Константинович!

Заседание соед. собрания назначено на 10-е мая. Короленку будет послана повестка. Надеюсь, его не смутит то, что на повестке будет сказано, что заседание назначается для частного собеседования. Это необходимо для того, чтобы мы были в заседании одни и свободнее могли бы прийти к какомунибудь решению.

Искренно преданный А. Шахматов.

27 апреля 1902“.

Это письмо Арсеньев переслал Короленку, сделав на нем следующую приписку:

„29 апрель

Глубокоуважаемый

Владимир Галактионович, на всякий случай пересылаю вам это письмо Шахматова. Искренно Вас уважающий Арсеньев“.

Однако, еще до получения этих, пока еще неофициальных извещений, Короленко получил (28 апреля) из Академии повестку, помеченную 22-м апреля, с приглашением на торжественное заседание памяти Жуковского, по случаю пятидесятой годовщины его смерти. Это приглашение на торжественное собрание со стороны учреждения, только что грубо оскорбленного и еще не успевшего ликвидировать оскорбление, сильно раздражило Короленка. В письме от 29 апреля к Батюшкову он между прочим пишет:

„Вчера получил письменное приглашение на участие в торжеств. собрании II Отдел. в память Жуковского. Подписано А. Веселовский. О собрании же по пов. моего заявления ни слова. Пишу Веселовскому и прошу опред. ответа: должен ли я считать, что Акад. переходит к очер. порядку, минуя мое заявление. Ну, оно и лучше, правду сказать. Прикрыть маленькое публичное заушение лачком торжеств. собрания и—конец! Чехов пишет, м. проч., что совершенно согласен с моим заявлением. Значит, нас двое, во всяк. случае, будет“.

Раздражение вкралось даже и в официальное письмо В. Г. к Веселовскому (и это—первый раз за все время), которым Короленко отозвался на приглашение. Сохранилось два черновика его письма (мы помещаем оба в том порядке, как они, судя по внешнему их виду, были написаны, причем первое близко к тому, что говорится в письме к Батюшкову, и только затем, повидимому, В. Г. несколько смягчил тон письма); оба письма написаны с нескрываемой даже иронией:

„Глубокоуваж.

Алекс. Николаевич.

Вчера я получил приглаш. к участию в торжеств. засед. Отделения в память Жуковского. Заседание это назначено на 12 мая. На первую же половину мая предполагалось назначить и засед. II Отделения для выслуш. моего заявления. Между тем до сих пор никакого извещения по этому поводу я не получил. Должен-ли я заключить из этого, что Отделение

„приступает к очер. порядку“, минуя мое заявление? Во всяк. случае буду очень признателен за определ. ответ по этому предмету, т. как в зависимости от этого мне придется располагать свое время и свои планы.

Прошу принять увер. в моем искреннем уважении.

Вл. Короленко.

29 апр. 1902“.

Текст второго черновика:

„29 апр. 1902.

Глубокоуважаемый

Александр Николаевич.

Вчера я получил приглашение на „торжественное“ заседание Отдела в память Жуковского. Ну, а как-же наше неторжественное заседание в первой половине мая, по поводу моего заявления? Состоится-ли это заседание или нет? Мне знать это очень важно, так как я должен вперед рассчитать свое время. Да, вероятно, и другим иногородним академикам важно знать это заблаговременно. Будьте, поэтому, добры сообщить—когда именно в первой половине мая может состояться наше заседание?

Примите уверение в моем искреннем уважении.

Вл. Короленко.

Полтава

Александровская ул.

д. Старицкого“.

Наконец, пришло извещение и о заседании, на котором академики должны быть выслушать заявление В. Г., и на котором предполагались с его стороны устные объяснения. Короленко получил извещение 1 мая, отметив в этот день в своей записной книжке: „Получил пов. из Академии: 10 „частное собеседование“ в Акад!!“

Делу придавался оттенок келейности, явно раздражавший В. Г.. Вслед за повесткой пришло краткое письмо от акад. Шахматова:

„Многоуважаемый

Владимир Галактионович!

Вы вероятно уже получили повестку на заседание, назначенное на 10-е мая. Заседание будет посвящено поднятому Вами вопросу. Надеемся, что Вы примете в нем участие.

Искренне преданный А. Шахматов.

1 мая 1902“.

2-го мая Короленко известил Чехова о назначенном заседании, надеясь, повидимому, съехаться с ним в Петербурге. Однако 5 мая он получил из Ялты от Чехова телеграмму *) следующего содержания: „Ольга Леонардовна больна приехать нельзя телеграфируйте из Петербурга Чехов“.

Из Петербурга вести приходили скудные и отрывочные. Так, Н. Ф. Анненский писал 4 мая: „Ждать ли Вас в Петербурге и когда? Я почти не сомневаюсь, что с Академией ничего не выйдет,—т. е. собственно с заседанием, назначить которое обещал Веселовский... Академические новости: говорят (слышал от Милюковых), что Марков **) подал в отставку. Затем, вернулся Боборыкин и очень интересовался Вашим заявлением. Ему дали копию—и, говорят, можно думать, что и он будет заодно с Вами“.

✓ 7-го мая В. Г. выехал из Полтавы в Петербург.

III.

8-го Короленко приехал в Петербург, 9-го—в Куоккалу к Анненскому, откуда вернулся в Петербург на „частное совещание“ в Академии, которое и состоялось в 2 ч. дня 10-го мая. В этот самый день В. Г. писал к жене в Полтаву:

„Сейчас из Академии, где заседали 3 часа в „частном собеседовании“. Князь болен (и говорят,—опасно), присутст-

*) Печатается впервые.

**) А. А. Марков, математик, академик.

воватъ не мог. Разумеется, много говорили и „убеждали“. Наметили некоторые выходы, но все—до осени! В виду этого, заявив, что очень признателен за доброе желание „сохранить меня в своей среде“—я предоставляю себе свободу действий. Теперь вопрос только в форме заявления. Впрочем, я пишу тебе под влиянием первого впечатления, в котором еще не вполне разобрался. Повидимому—намерения „добрые“, но все это далеко и неопределенно и ведет в затяжку и вообще—прежнее решение остается по всем видимостям—единственным“.

Несколько более подробно В. Г. сообщает о заседании в следующем письме к жене от 12 мая:

„Заседание академии меня почти не взволновало. Только 10 минут, когда я говорил и старался изложить свой взгляд, в ответ на общие уговаривания,—я почувствовал волнение. Остальное время (а продолжалось часа 2½) — разговаривал совершенно спокойно. В заключение я сказал, что выслушал с полным уважением мнение своих товарищей, но считаю себя не связанным, тем более, что и заседание частное (маленькая хитрость А. Н. Веселовского). Ждать-же решения до осени не могу. На том и разошлись. Теперь остается спокойно обдумать и составить последнее заявление, которое пошлю уже из Полтавы“.

Еще некоторые подробности о том же заседании читатель найдет ниже в выписке из дневника В. Г.-а, а пока в хронологической последовательности приводим выдержку из письма Батюшкова к Ав. Сем. Короленко от 14 мая, которое, во первых, бросает некоторый свет на тот „план“, который намечали академики умеренного настроения, и, во-вторых, уясняет настроение В. Г., с которым Батюшков часто виделся в Петербурге.

„...хотя дело, повидимому, идет на смарку, Влад. Гал. все же одержал нравственную победу в Академии, ибо в конце заседания, по его словам, все выразили ему сочувствие и согласились с тем, что он прав, даже возражавшие ему.— Но существу стало быть инцидент выяснен и только вопрос в мерах, которыми можно бы загладить допущенную неправильность об'явления в Прав. Вестн., без согласия и даже

без ведома почетн. академиков, но как бы от их имени. Пока меры предложены наилучшие, сообразно с существующими у нас условиями правового порядка: как только выздоровеет президент (у которого серьезная болезнь, с мозговыми осложнениями), примерно в сентябре, созывается официальное соединенное собрание Отделения и Разряда, на котором будет прочитано заявление Влад. Гал. и присутствовавшие теперь академики (9 челов.) присоединятся к его мнению, выражая сожаление, что допущена была столь неудачная форма правительствен. сообщения, которая дала повод ошибочному мнению в обществе будто отмена выборов произошла от имени самих академиков. Этот протест заносится в протокол заседания и затем, кк. деловая бумага, подлежит распространению — тем или другим путем, может быть не сейчас в газетах (Высоч. распоряж. не подлежат оглашению) — но во всяком случае — протест будет заявлен и таким образом ответственность за распоряжение возвращается к тому лицу, от которого оно исходило. Если бы все это произошло, я считал бы, что академики исполнили все от них зависящее, при действующей неограниченной форме правления. Далее, в проекте правил для будущих выборов — последние должны оставаться свободными, кк. до сих пор, и тотчас оглашаться. Затем выбираемые лица в Разряд изящн. слов. утверждаются, кк. и в других Отделениях, по воле монарха, который может и кассировать выборы (кк. делается и в Западн. государствах), но общество будет знать, что от кого исходит... При таких условиях Разряд изящн. слов. мог бы продолжать свое существование, оставаясь духовно-свободным учреждением. Но, к сожалению, по некоторым признакам мало шансов, что предложенное будет выполнено осенью. Влад. Гал. имеет данные опасаться, что произойдет лишь проволочка и ничего не сделают. Вот почему он ставит свое решение независимо от обещаний — неофиц. характера. Я тут уже не берусь судить. Признаю, что Влад. Гал. сделал очень многое, чтобы тк. сказать уважить товарищей и выждать их решения для того, чтобы действовать сообща. Не его вина, если они не представляют ему достаточно гарантий осуществления планов, в особенности потому, что скрывают

мнение президента, который осенью простым правом председателя может снять вопрос с очереди и тогда всему конец“.

20-го мая Короленко вернулся в Полтаву, 23-го выехал в Ялту на свидание с Чеховым. 24-го был уже в Ялте, 25-го виделся с Толстым, в беседе с которым умышленно избегал темы об академической истории; 27-го В. Г. вернулся в Полтаву. 28-го мая он между прочим писал к Батюшкову: „Я съездил в Ялту, частью чтобы повидаться с Чеховым, частью по телеграмме брата. Был у Толстого. Поездкой чрезвычайно доволен. Чехов, вероятно, отложит свое заявление до осени и это, по моему, хорошо. Я „выйду“ на днях, это дело, по многим причинам, необходимое. А Академии все таки придется еще вернуться к вопросу. С Толстым об Академии почти не говорили (я этого и не хотел), но очень интересно провели часа три. Удивительный старик. Тепло умирает, а ум горит пламенем“.

О свидании своем с В. Г. Короленко А. П. Чехов писал Горькому в письме от 2-го Июня: „Накануне моего отъезда из Ялты был у меня Короленко. Мы совещались и вероятно на сих днях будем писать в Петербург, подаем в отставку“.

О том впечатлении, которое произвел в обществе слух о предстоящем уходе из Академии Короленка и Чехова, до некоторой степени, можно судить по следующему отрывку из письма Батюшкова к Короленку от 16-го июня:

„Получил на-днях две записки от Чехова, который в Москве: его жена опять заболела и пришлось отсрочить предполагаемую поездку на Волгу. Ант. Павлов. сообщает, что, сговорившись с Вами, он пришел к заключению о необходимости выйти из Академии. И вслед затем я получаю от Никитина *)—предложение от В. Кн. мне вступить в комиссию для пособия нуждающ. лит. и ученым в качестве запасного члена. В другое время я бы принял, но теперь—не могу справиться с чувством раздражения и это слишком многого от меня требовать, чтобы я хоть лишь формально значился в ака-

*) П. В. Никитин, академик.

демической комиссии,—вернее вступил в нее, когда над всей Академией простирается стыд от того, что она не сумела сохранить двух лучших представителей Разряда изящн. словесн., лучших без преувеличений—т.к. кк. Толстой не считает себя академиком, и даже единственных. Я ответил отказом, под предлогом слишком сложных дел в связи с деятельностью казначея Л. Ф. *), в комитете которого мне еще осталось пробыть полтора года“.

✓ ✓ 25-го июля Короленко отослал в Академию свой отказ от звания почетного академика. Текст отказа мы находим в его письме к Н. Ф. Анненскому, которое и приводим полностью:

„Дорогой Николай Федорович.

Вы уже наверное видели Фед. Дм. Батюшкова, и он Вам говорил о нашей здешней жизни. Заявление мое в Акад. он выслушал и в содержании онного весьма не одобрил. Прежде всего я действительно совершил ошибку относительно „формы сношений“ и адресовал заявление во II-ое Отдел., а не Президенту, как бы следовало. Впрочем, думаю, что это неважно и Отделение представит, куда надо. Засим—не одобрил он и экскурсию в область полицейско-админ. воздействий. Вы тот раз тоже находили это излишним, но... не мог я, признаться, утерпеть, чтобы не отдать дань сему российскому институту. Сделано это, впрочем, как видите из прилагаемой копии, в форме весьма умеренной и сдержанной.

Полный текст заявления моего гласит сице:

„В Отделение Р. Яз. и Словесности и Разр. Изыщной Словесности Императорской Академии Наук.

„6 апреля наст. года я имел честь обратиться к Председателю II Отделения с нижеследующим письмом:

(следует текст первого моего письма. Здесь только в фразе: которое (т. е. мнение) по природе своей чуждо внеш-

*) Литературного Фонда.

нему повелительному воздействию“,—я вставил подчеркнутое слово, т. как, разумеется, мнения от внешних воздействий иногда меняются. Засим следует прибавление):

„К сожалению, официальное заседание, о котором я просил и которое могло бы придти к какому ниб. определенному решению, состояться не могло и вопрос отложен на более или менее неопред. время.

„В виду этого к первоначальному заявлению мне придется прибавить немного. Вопрос, затронутый в об'явлении, не может считаться безразличным. Ст. 1035 есть лишь слабо видоизмененная форма административно-полицейского воздействия, игравшего большую роль в истории нашей литературы. В собрании, считающем в своем составе немало лучших историков литературы, я не стану перечислять всех относящихся сюда фактов. Укажу только на Н. И. Новикова, Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Аксаковых. Все они в свое время подвергались административному воздействию разных видов, а надзор над А. С. Пушкиным, мировой славой русской литературы, — как это видно из последних биографич. изысканий,—не только проводил его в могилу, но длился еще 30 лет после смерти поэта *). Таким образом, начало, провозглашенное в об'явлении от имени Академии, проведенное последовательно, должно было-бы закрыть доступ в Академию первому поэту России. Это—в прошлом. В настоящем-же прямым его следствием является то, что звание Поч. Академика может быть также и отнимаемо вне-судебным порядком, по простому подозрению администрат. учреждения, постановляющего свои решения без всяких гарантий для заподозренного, без права защиты и апелляции, часто даже без всяких об'яснений.

„Таково принципиальное значение начала, провозглашенного от имени Академии. Я не считаю уместным касаться здесь общего и юридич. значения 1035 ст. и тех, лежащих

*) Уже в 70-х годах истекшего века генер. Мезенцов потребовал, по вступлении своем в должность шефа жанд. списки поднадзорных и вычеркнул из них имя тит. сов. А. С. Пушкина (примеч. В. Г. Короленко).

за пределами литературы, соображений, которыми вызвано ее применение. Во всяком случае, однако, представляется далеко небезразличным—вводится-ли то или другое начало категорическим распоряжением власти, или-же оно возлагается на инициативу и нравственную ответственность учено-просветительного учреждения, призванного руководиться лишь высшими интересами литературы и мысли.

„В виду всего изложенного, т. е.:

„что оглашенным от имени Академии объявлением затронут вопрос, очень существенный для русской литературы и жизни;

что ему придан характер коллективного акта;

что моя совесть, как писателя, не может примириться с молчаливым признанием принадлежности мне взгляда, противоположного моему действительному убеждению;

что, наконец, я не нахожу выхода из этого положения в пределах деятельности Академии,—

Я вижу себя вынужденным сложить с себя нравственную ответственность за „объявление“, оглашенное от имени Академии, в единственной доступной мне форме, т. е. вместе с званием Почетного Академика.

Поэтому, принося искреннюю благодарность уважаемому учреждению, почтившему меня своим выбором, — я прошу вместе с тем исключить меня из списков и более Поч. Академиком не числить.

Вл. Короленко“.

Писал я Вам отсюда 25 июля, в день приезда Фед. Дм., которого мы с Соней *) ходили встречать в Геленджик. От Вас жду ответа с великим нетерпением, так как почти ничего не знаю о Петербурге, редакции и прочем. Напишите, пожалуйста, обо всем, а также о том, кто где находится из редакции, когда приедете и т. д. Я здесь благодушествую на берегу моря и не скажу, чтобы очень рвался в Петербург. Наоборот... но... если... и т. д., и т. д.

*) Дочь В. Г. Короленко.

Наши все вам всем кланяются. Уедем отсюда, вероятно, числа 17-го августа, но Ваш ответ еще застанет нас здесь.

Крепко обнимаю всех, всех.

Ваш Вл. Короленко.

5 авг.

Геленджик (Черном. губ.)

Джанхот.“

Ровно месяц спустя послал свой отказ и Чехов. Вот что он писал по этому поводу к Короленку:

„Ялта 25 Авг.

Дорогой Владимир Галактионович, где Вы? Дома-ли? Как бы то ни было, адресую это письмо в Полтаву.

Вот что я написал в Академию:

„В. И. В.!) В декабре прошлого года я получил извещение об избрании А. М. Пешкова в почетные академики; и я не замедлил повидаться с А. М. Пешковым, который тогда находился в Крыму, первый принес ему известие об избрании и первый поздравил его. Затем, немного погодя, в газетах было напечатано, что в виду привлечения Пешкова к дознанию по 1035 ст. выборы признаются недействительными; при чем было точно указано, что это извещение исходит от Академии Наук, а так как я состою почетным академиком, то это извещение частью исходило и от меня. Я поздравлял сердечно и я же признавал выборы недействительными—такое противоречие не укладывалось в моем сознании, примирить с ним свою совесть я не мог. Знакомство с 1035 ст. ничего не объяснило мне. И после долгого размышления я мог придти только к одному решению, крайне для меня тяжелому и прискорбному, а именно, почтительнейше просить В. И. В. о сложении с меня звания почетного академика“.

Вот Вам. Сочинял долго, в очень жаркую погоду и лучше сочинить не мог и вероятно не могу.

*) Т. е.—Ваше Императорское Высочество.

Приехать было нельзя. Хотел с женой проехаться по Волге и по Дону, но в Москве она т. е. жена тяжело заболела опять — и мы так намучились, что было не до путешествия. Ну, ничего, авось будем живы в будущем году и тогда я проеду в Геленджик, о котором, кстати сказать, на днях читал статью в Историч. Вестнике.

Желаю Вам всего хорошего, крепко жму руку. Будьте здоровы и веселы.

Ваш А. Чехов“.

Вслед за этим Чехов снова писал к Короленку:

„28 авг. 1902.

Дорогой Владимир Галактионович, вот еще подробности. Когда мною были написаны заявление к К. К. и письмо к Вам, вдруг явился гость — акад. Кондаков, которого Вы знаете. Мы разговорились и он между прочим сказал мне, что заявление следует посылать на имя А. Н. Веселовского, так как сей состоит председателем отделения, но вовсе не на имя К. К., который состоит только членом отделения, как я и Вы. Я быстро переписал заявление и в тот же день послал его — на имя Веселовского. Стало быть, Батюшков было неправ.

Заявление я переписал, письмо же к Вам послал так, рассчитывая написать Вам еще на другой день. Расчет мой оказался неверным, я запаздываю дня на три, в расчете, что Вы простите и не посетуете на меня.

Желаю Вам всего хорошего, крепко жму руку. Стемнело в комнате, плохо вижу и потому плохо пишу, кажется.

Ваш А. Чехов“.

Точный текст письма Чехова к А. Н. Веселовскому, несколько разнящийся от приведенного выше текста, таков: *)

*) См. «Чехов. Новые письма», под ред. Б. Л. Модзалевского. «Атеней».

„25-го августа 1902 г.

Милостивый Государь

Александр Николаевич!

В Декабре прошлого года я получил извещение об избрании А. М. Пешкова в почетные академики. А. М. Пешков тогда находился в Крыму, я не замедлил повидаться с ним, первый принес ему известие об избрании и первый поздравил его, затем, немного погодя, в газетах было напечатано, что в виду привлечения Пешкова к дознанию по 1035 ст., выборы признаются не действительными. При этом было точно указано, что извещение исходит от Академии Наук, а так как я состою почетным академиком, то это извещение исходило и от меня. Я поздравлял сердечно и я же признавал выборы не действительными—такое противоречие не укладывалось в моем сознании, примирить с ним свою совесть я не мог. Знакомство же с 1035 ст. ничего не об'яснило мне. И после долгого размышления я мог придти только к одному решению, крайне для меня тяжелому и прискорбному, а именно почтительнейше просить Вас ходатайствовать о сложении с меня звания почетного академика.

С чувством глубокого уважения имею честь пребыть Вашим покорнейшим слугою.

Антон Чехов.

25 Августа 1902 г.

Ялта“.

В промежутке между выходом из Академии Короленка и Чехова Владимир Галактионович занес в свой дневник краткий очерк всего инцидента, который мы здесь и приводим (даты на записи нет):

„В марте разыгралась академическая история с выбором А. М. Пешкова-Горького.

Года два-три назад мин. Витте в память Пушкинских дней, внес проект образования разряда изящной словесности при Академии Наук, в который должны быть избираемы

выдающиеся беллетристы и критики. В первой очереди были выбраны Толстой, Чехов и я. Выбор чисто почетный, не сопряженный ни с содержанием, ни с должностью. Отказываться было бы странно, и все мы приняли выбор, хотя я лично чувствовал какой-то осадок и предчувствие, что эта комедия при наших порядках добром не кончится.

Надо думать, что уже этот первый выбор вызывал некоторое неудовольствие. Вторые выборы опять дали некоторый контингент либер. писателей в Академию (в том числе К. К. Арсеньев). Затем подошли выборы третьей серии, и при этом был избран А. М. Пешков. В это время в Нижнем о нем производилось дознание по 1035 ст., по полит. делу. Все это дело начато честолюбивым и злобным прокурором Утиным, которого, в конце концов, за нетактичность убрали из Нижнего. Это однако послужило поводом Сипягину представить Государю выбор Пешкова, как демонстрацию со стороны Академии. Царь через Ванновского, во-первых, объявил академии „неудовольствие“ за этот выбор. Вторым Высоч. повелением приказано выбор считать недействительным, третьим—изменить устав о выборах в поч. академики таким образом, чтобы впредь таких случаев не было. Все это было объявлено академикам Президентом (Вел. Кн. Конст. Константинович) и на этом история могла-бы покончиться, так как, конечно, никто не стал-бы оспаривать права Высоч. власти—издавать сепаратные повеления и не утверждать выборы—в России, где губернаторы не утверждают председателей земских управ и гор. голов. Но кто-то еще пожелал, чтобы объявление о неутверждении было сделано не категорическим распоряж. власти, а от имени самой Академии. В „Правит. В—ке“ сначала появилось просто известие, что выборы Горького не утверждены. Уже и это было очень нетактично. Почетный выбор был оглашен во всех газетах и Горькому было послано от Акад. извещение. Очевидно, „почета“, состоявшего в выборе, уничтожить было уже невозможно. Теперь к этому прибавили новую огласку—неутверждение, которое у нас, в России, по обстоятельствам, тоже является своеобразно почетным. Вдобавок,—новая бестактность: Президент потребовал через губернатора, чтобы

Пешков вернул самое извещение о факте выбора. Хотели, очевидно, вменить выбор „яко не бывший“. В самый день, когда появилось об'явление об отмене выборов,—к телеграмме об этом агентства приказано прибавить: „от Академии наук“. В об'явлении сказано, что, выбирая Пешкова, академики не знали о его привлечении по 1035 ст. В конце концов вышло, что академия сама, узнав о пресловутой 1035 ст.,—отменяет свой выбор и значит Высоч. повелению придан вид самостоят. акта академии. Между тем, значение этой статьи спорно, никогда „полиц. надзор“ так не истолковывался и даже одна ретроградная газета выразила недоумение—что академия считается с полицейскими соображениями („Свет“). Между тем, академики даже не знали, что от их имени делается такое об'явление...

Я в это время сидел в Полтаве, и до меня доходило все это довольно поздно. Высоч. повел. состоялись 9 марта. В начале апреля я приехал в Петербург и говорил с неск. академиками. Все были возмущены,—но... общее настроение повидимому улеглось. Шумел только математик Марков, которому Президент не позволил поднять этот вопрос в заседании. Я обратился (6 Апр.) к Веселовскому с письмом, в котором, сообщая, что я имел право участвовать в обсуждении отмены выборов, раз она должна была состояться от имени Академии,—прошу назначить собрание, в к—ром, я мог-бы представить свои соображения по этому поводу. Лично Веселовскому (председ. II отд.) я заявил, что сложу с себя звание, если до половины мая не будет собрания для обсуждения этого вопроса. Веселовский немного слукавил: в Полтаве я получил приглашение на 10 мая в заседание Отдела и Разряда „для частного совещания“. Я приехал, совещание состоялось, но результат получился неопределенный и вопрос откладывался—до осени во-первых, до выздоровления Президента (князь К. К. был болен и говорили серьезно)—во-вторых.

В конце концов я послал во время летних каникул свой мотивированный отказ от звания Поч. Академика. Повидимому, уйдет и Чехов. Маленькая идиллия с „почетными

академиками“, которых может сменять департамент полиции простым возбуждением „дела о неблагонадежности“—кончается.

Любопытна также параллельная история с проектом изменения устава. Выбрана комиссия, в которую вошли очень уважаемые люди (даже К. К. Арсеньев) и... такова была растерянность и недоумение, что эта комиссия придумала—предварительные справки через Президента в департаменте полиции. Так. обр. в конце концов департамент полиции руководил-бы академическими выборами. Проект был тогда изменен: академия выбирает и, не оглашая выборов, представляет на утверждение Государя... Само собою разумеется, что тогда Государь отсылает к министру вн. дел, министр вн. дел—в департамент полиции, и в результате опять то же. Мы будем выбирать только писателей, патентованных в департаменте полиции. На мое замечание по этому поводу—частное собеседование пришло к заключению, что „академия выбирает и оглашает о почетном выборе“, а затем представляет Государю. Но это—как раз опять случай с Горьким, по поводу к—рого как раз и приказано изменить устав. Т. обр.—выхода нет, и куда ни кинь все попадаешь в деп. полиции. Играть дальше эту комедию—у меня нет охоты.

Очень характерно в „совещании“ держался В. В. Стасов. Сначала с некоторой резкостью он начал на меня. По его словам—я своим заявлением „ничего нового не сказал“. Объявление—есть офиц. реляция. Таковым у нас, все равно, никто не верит. Мы читаем, напр., что в стычке ранено 6 казаков, а всем известно, что их убито 666! И однако мы не суемся опровергать эти реляции. То-же и здесь. В обществе уже известно многим, что это инициатива не академии, и этого достаточно.

На это я ответил, что с такими реляциями я, конечно, знаком, но попрошу многоуважаемого В. В-ча указать мне хоть один случай, когда такая реляция была напечатана от моего имени или от имени кого-либо из присутствующих.

В данном же случае от моего имени об'явлено, что я считаю всякого, заподозренного деп. полиции—недостойным выбора. Но тогда мы не могли-бы выбирать Пушкина, Лерм. Грибоедова, Тургенева. Я имею кроме общих еще и личные причины, заставляющие меня ненавидеть этот внесудебный порядок, применяемый к политическому процессу, и имею право оберегать свое писательское имя от навязывания мне признания этого „порядка“ и его законности. Любопытно, что, после заседания, В. В. Стасов подошел ко мне и, пожимая мне руки,—сказал, что я прав и что, в сущности, после этой бесцеремонности—все мы должны бы выйти... „А если не выходим,—то по российскому свинству!“—закончил он с обычной резкостью. „И так поговорив, мы разошлись“...

Приведенных выше документов, кажется нам, достаточно для более или менее полного уяснения отношения к академическому эпизоду как его главнейших участников, так и тех представителей литературы и общественности, которые по тем или другим причинам были вовлечены в обсуждение истории. И отношение каждого из них—по своему характерно.

Для В. Г. Короленка главным моментом является живая и безнравственная форма, в какую оказался облечен правительством акт кассации выборов. В данной обстановке это было для него особенно нестерпимо, ибо инцидент, помимо своей общественно-политической стороны, имел сторону и лично В. Г-а касавшуюся: он оскорблял его достоинство, как человека и писателя.

Для А. П. Чехова в этой истории главное—простое соображение о том, так сказать, житейски-нелепом положении, в котором он себя почувствовал, одновременно приветствуя Горького с избранием, и тут-же как бы своим именем лишая его звания академика.

Н. Ф. Анненский сразу же вступил при обсуждении инцидента на общественно-политическую позицию: акт пра-

вительства — тяжелый политический симптом и такой же симптом — в слабой на него реакции со стороны академических кругов.

Добрый и далекий от общественности человек — Ф. Д. Батюшков прежде всего высказывает опасение, как бы неосторожный шаг со стороны Короленка, которого он так любил, лично не навредил ему. В дальнейшем его позиция — явно несамостоятельна, колеблющаяся и неуверенная.

Наконец, виднейший представитель академических кругов, А. А. Шахматов — более всего озабочен мыслью о том, чтобы резкие выступления почетных академиков не нанесли ущерба дорожному для него учреждению — Академии.

В прессе, по цензурным условиям того времени, весь этот инцидент, сколько нам известно, полного отражения не получил. Только в 1905 году, когда рамки цензурных ограничений значительно расширились, кое-что из происшедшего в Академии получило некоторую огласку. В частности, заявил о своем отношении к происшедшему несколько раз упоминаемый выше академик А. Марков.

Других более или менее значительных откликов на этот эпизод мы не знаем.

IV.

Свое прямое продолжение академическая история получила уже после революции 1917 г.

Вскоре после февральского переворота группа академиков, изложив вкратце краткую историю академического инцидента, пришла к следующему выводу:

„Принимая во внимание, во-первых, что от Академии наук и ее органов никаких распоряжений об исключении М. Горького из числа почетных академиков не исходило; во-вторых, что повеление государя было сообщено Академии уже по приведении в исполнение вытекавших из него

распоряжений, чем исключалась возможность дальнейших со стороны Академии действий для осуществления состоявшегося в ней выбора А. М. Пешкова; в-третьих, в виду того, что повеление, устранившее А. М. Пешкова, было опубликовано не в установленном действовавшими в то время основными законами Российской империи порядке (св. зак. изд. 1892 года, т. I, ч. I, ст. 55 и прим. I ст. 66), а также, что одно лишь привлечение к дознанию в порядке ст. 1035 устава уголовного судопроизводства, согласно ст. 1035²⁵, не может влечь за собою для привлеченного лишения или ограничения каких-либо прав, — надлежит, по мнению отдельных членов Разряда, послать М. Горькому, как почетному академику, повестку на ближайшее заседание Разряда, которое предполагается назначить на 20-е марта“.

21-го марта, после состоявшегося академического заседания, покойный Д. Н. Овсянко - Куликовский, также почетный академик (более позднего избрания), обратился к Короленку с письмом, в котором между прочим писал:

„Вчера, на заседании Разряда изящной словесности, было выражено единодушное желание, чтобы Вы опять стали почетным академиком и вступили в нашу среду. Максиму Горькому была послана повестка, и мы готовили ему надлежащую встречу и привет. Но, задержанный на каком-то заседании, он не явился. Явится в следующий раз. С возвращением Горького отпадает достаточное основание для Вашего отсутствия. Мне поручили запросить Вас об этом, прежде чем будет послано Вам официальное предложение Академии. Вас надо будет баллотировать, — и, разумеется, Вас изберут единогласно. Горький вернулся без баллотировки, потому что Академия все время считала его невыебавшим, а только отторгнутым внешнею силою. Вы же выбыли по собственному желанию. Вспоминаю, что года три тому назад, на частном совещании у Кони, А. А. Шахматов заявил, что из числа имеющихся вакансий две должны оставаться незаемщенными — впрямь до возвращения Короленка и Горького. Теперь этот момент наступил. Возвращайтесь к нам“.

Точка зрения на этот вопрос Короленка была однако иная. На письмо Овсяннико - Куликовского В. Г. отвечал следующим образом (цитируем по сохранившемуся в архиве черновику):

„29 мая 1917

Дорогой Дмитрий Николаевич.

Не знаю, найдете ли Вы в себе столько христианского незлобия, чтобы не сердиться на меня за такое запоздание с ответом на Ваше письмо. Произошло это от многих более или менее уважительных причин. Одна из них продолжающееся нездоровье, другая—вытекающая отсюда нерешительность. Наконец третья—неопределенность положения, из которого требуется выход.

Вот видите ли, дорогой Дмитрий Николаевич, в чем дело. Вышел я из Академии не потому, что Царь не утвердил избрания Горького. Это его, т. е. бывшего Царя дело. При прежнем строе на всем его протяжении ктонибудь когонибудь не утверждал: губернаторы—одних, министры—других, цари—третьих. Это было тогда их формальное право, и это приходилось терпеть всей России. Экстренной обиды в пользовании им, требующей особого протеста, не было. Вспоминаю по этому поводу один эпизод, который запал мне в память отчасти в связи с нашим делом. В прошлом веке берлинская академия избрала в свои члены проф. Зибеля. Император этого избрания не утвердил. Когда академики выразили по этому поводу свое соболезнование, то Зибель ответил: — „О, это беда небольшая. Было-бы гораздо печальнее, если-бы выбрал император, а Академия не утвердила“. Такая-же малая беда случилась и с Горьким, и если-бы о неутверждении было объявлено обычным порядком „от высочайшего имени“, то я, как и другие, просто принял бы это к сведению. К сожалению, это было объявлено не от царя, а от самой академии: в Правит. В-ке было сказано, что мы выбрали Горького, не зная, что он находится под политическим дознанием. А узнав, выбор отменяем. Это было сделано так бесцеремонно, что у нас даже

не спросили, желам-ли мы брать на свою ответственность эту царскую функцию неутверждения. Это уже была „беда“, и только против этой бесцеремонности я и протестовал. Царь мог не утверждать сколько ему угодно, но я не желал, чтобы он прикрывал свое неутверждение моим именем.

Вот в чем было дело и почему я сложил с себя звание почетного академика. Согласитесь, что будет непоследовательно с моей стороны, если я анулирую эту причину моего ухода и соглашусь войти в „Отдел“ после того, как история анулировала самого царя. С Горьким дело пожалуй проще; он входит в академию, как Вы выражаетесь,—автоматически. Со мной не то. Меня приходится переизбрать, при чем самая причина моего выхода представится при этом не в настоящем свете.

Мне, поверьте, очень неприятен весь этот эпизод, потому что я питаю глубокое уважение к личному составу „отдела словесности“. Но принципиальное разногласие может выйти и у людей, взаимно друг друга уважающих, а тут у меня были именно принципиальные соображения. И право я не вижу, почему я должен идти с ними в Каноссу и вновь стучаться в двери, из которых ушел добровольно по причине, которую считаю основательной.

Крепко жму Вашу руку и надеюсь, что Вы на меня не рассердитесь ни за запоздалость ответа, ни за его сущность.

Искренно Вас уважающий

Вл. Короленко.

Р. С. Еще одно: вышли мы по обоюдному соглашению с А. П. Чеховым. Войти вместе не можем....“

10-го марта 1918 г. В. Г., отвечая некоему Н., приславшему копию предназначенной к печати рукописи об академическом инциденте, указывает, почему он не может вернуться в Академию, повторяя доводы, изложенные им в письме к Овсяннико-Куликовскому. Но далее он, исправ-

для фактические неточности в присланной ему работе г. Н. и касаясь вопроса об уходе из Академии Чехова, категорически заявляет: „Могу уверить, что Чехов всегда поступал очень самостоятельно, именно так, как сам считал нужным и „увлекать“ его мне не приходило в голову..... Я ограничился изложением перед отделом мотивов, не позволяющих мне лично примириться с таким бесцеремонным навязыванием мне, гласно и публично, не моего, а казенного мнения и, если хотел чегонибудь, то лишь того, чтобы отдел в какойнибудь форме отклонил от себя авторство заявления. Я уважаю личный состав отдела, и не считал уместным навязывать ему тот или другой образ действий. Это дело их. Я только не мог подчинить свое мнение большинству, так как для меня это был вопрос совести. Вот и все“.

Далее В. Г. пишет: „Недавно в одном из исторических журналов..... была напечатана заметка, бросающая окончательный свет на весь инцидент с Горьким. На докладе о выборах Горького царь сделал пометку: „Оригинально“. Никакой дальнейшей резолюции не было, и уже повидимому президент Академии К. Р. и председатель отдела А. Н. Веселовский нашли выход из положения, не справившись с мнением отдела. Я помню, что А. Н. Веселовский говорил об этом вскользь: „вел. князь нашел, что для отдела будет гораздо лучше сделать это от себя“. А по моему это-то и было гораздо хуже. Президент сделал большую неловкость, а А. Н. Веселовский не сумел эту неловкость отклонить“.

В постскрипуме к настоящему письму мы читаем: „По навед. мною справке, заметка, о которой я говорил выше, напечатана в „Былом“, в июльской книжке прошлого 1917 г. и озаглавлена: „Более чем оригинально, — случай с Горьким“. Из этой заметки видно, что никакого неутверждения в сущности не было, а было лишь нечто вроде изречения оракула, которое академический президиум поспешил облечь в форму отречения Отдела от собственного выбора. В этом узел всего инцидента“.

В собрании документов, относящихся к изложенной нами истории, хронологически-последним является письмо-уведомление академика А. Шахматова от 29/16 мая 1918 г. следующего содержания:

„Глубокоуважаемый

Владимир Галактионович.

В заседании Разряда изящной словесности 27 (14) мая единогласно постановлено: просить вас принять звание Почетного Академика. Только теперь пришлось привести в исполнение решение, к которому Разряд изящной словесности пришел еще в марте 1917 года немедленно после возвращения А. М. Пешкова (Максима Горького) в состав Почетных Академиков.

Искренно вас уважающий и преданный

А. Шахматов“.

Ответил-ли на это извещение В. Г.—нам неизвестно. Вероятнее, что нет: мнение его по этому поводу, как мы видели, было уже высказано, новых данных для его изменения не было, сношения с Петербургом были случайны и затруднительны. Как-бы то ни было,—черновиков ответа или хотя бы обычной у В. Г-а в таких случаях пометки в записной книжке—мы не нашли.

Такова эта история, взволновавшая в свое время русское общественное мнение и получившая название „Академического Инцидента“. Для нас она имеет значение исторического эпизода, дополняющего несколькими яркими штрихами характеристику условий русской общественности последних лет эпохи царизма.

Уход двух, может быть, наиболее ярких членов из Разряда Изыщной Словесности Академии, украшавших своими именами его состав, несомненно, не мог не оказать влияния на деятельность учреждения, которое, как известно, не оставило за время своего существования сколько-нибудь заметного следа в летописях Российской изящной словесности.



~~9642~~

6-00

52

1891
10/1

1.50

8K5-12